



КНИЖНАЯ
ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Беседы о горожанах,
ставших гордостью
национальной культуры

ПЕТЕРБУРГ: ТАЙНЫ, МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ



Александр Ласкин
Петербургские
ТЕНИ

Книжная лавка писателей

Александр Ласкин
Петербургские тени

«Книжная Лавка Писателей»

2004-2007

УДК 82-3
ББК 84.4

Ласкин А. С.

Петербургские тени / А. С. Ласкин — «Книжная Лавка Писателей», 2004-2007 — (Книжная лавка писателей)

ISBN 978-5-9909788-6-7

Петербургский писатель и ученый Александр Ласкин предлагает свой взгляд на Петербург-Ленинград двадцатого столетия — история (в том числе, и история культуры) прошлого века открывается ему через судьбу казалась бы рядовой петербурженки Зои Борисовны Томашевской (1922–2010). Ее биография буквально переполнена удивительными событиями. Это была необычайно насыщенная жизнь — впрочем, какой еще может быть жизнь рядом с Ахматовой, Зощенко и Бродским?

УДК 82-3
ББК 84.4

ISBN 978-5-9909788-6-7

© Ласкин А. С., 2004-2007
© Книжная Лавка
Писателей, 2004-2007

Содержание

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ	6
Звонок	7
Место	8
Отступление в сторону Парижа	9
Отступление в сторону кабинета	11
Немного сведений	12
Разговоры при свидетеле и без	13
Царское как село	17
Игры на воздухе	18
Царское как село (продолжение)	19
Ахматова – соавтор Шагала	20
...и Бродский	21
Резиденция Зои Борисовны	22
Паек	27
Собеседница	28
О чайниках и пирогах	29
Разговоры	30
Точность	31
Как быть писателем?	35
Пастернак как чудотворец	36
Пастернак как чудотворец (продолжение)	37
Шостакович на стадионе и дома	38
Шарады у Томашевских	39
В эпоху разложения	40
Теорема Юрия Слонимского	41
Заметки на полях	42
Секрет Альтмана	45
И другие секреты	47
И другие секреты (продолжение)	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Александр Ласкин

Петербургские тени

Наши тени навсегда.

Анна Ахматова

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

По-разному видишь Петербург. С птичьего полета. Из окна автобуса. И, наконец, глаза в глаза. Чтобы не только угадывать перспективу, но разглядеть буквально каждого.

В этом случае могло быть только глаза в глаза. Ведь речь пойдет о Зое Борисовне Томашевской (1922–2010), человеке пожилым и, к тому же, непубличным. Само ее присутствие на этих страницах отменяет дистанцию.

Да и какая дистанция! Обычно сочинения, связанные с историей, пишут, обложившись книгами, но в этот раз я работал, беседуя. Представьте небольшую комнату, она сидит в кресле и рассказывает что-то удивительно интересное.

О, эти незабываемые разговоры! Так обсуждают последние известия. Впрочем, это и были последние известия. Можно сказать, новости минувшего. Раньше прошлое было далеко, но теперь я знал, что оно рядом.

О Зое Борисовне еще много будет сказано, но пока несколько предварительных слов. Это про того, кто с утра до ночи не сходит с телеэкрана, ничего объяснять не надо, а тут все же не обойтись без комментариев.

Как лучше ее представить? Дочь знаменитых литературоведов Б. В. Томашевского и И. Н. Медведевой-Томашевской. Известный архитектор. Петербурженка, прожившая со своим городом почти век. Впрочем, главный ее талант заключался в умении дружить.

С кем только она не прятельствовала! От одних фамилий закружится голова. Ахматова, Зощенко, Рихтер, Бродский... Ну и еще огромное количество знаменитостей. Так что правильней было спросить ее о тех, с кем дружбы не получилось. Это бы сильно сократило ответ. Однажды я поинтересовался, и она назвала Мравинского и Уланову. Мол, с остальными вышло сразу – и на долгие годы.

При этом никакого «на фоне Пушкина снимается семейство»! Дело в том, что не только ее тянуло к гениям, но и им без нее было трудно. Ведь они, гении, такие же люди как все. Им тоже нужно тепло и сочувствие. Может, даже больше чем кому-либо другому.

Когда мы решили, что из наших встреч может получиться книга, она определила мою задачу так: «Вы должны писать не обо мне, а о нашем круге». Кажется, я выполнил ее поручение. Главная героиня, конечно, в центре, но круги (вот опять это слово!) расходятся далеко. На этих страницах вы встретите людей, прямо с ней не связанных. Это, так сказать, контекст. То, во что она была вписана и что ее формировало.

Еще не удивляйтесь личным воспоминаниям автора. Дело в том, что я не только за ней записывал, но пытался понять. И, разумеется, сравнивал. Вот – я, а это – она... Нас разделяют три-четыре поколения – или что-то еще?

Напоследок следует объяснить – почему «Петербургские тени». Потому что в городе, прожившем столь долгую жизнь, обитают не только люди. Порой по воде или на фасаде дома промелькнет узнаваемый абрис... Ахматова... Мандельштам... Бродский... Они и есть «тени навсегда». Не так давно к этому сонму лучших из петербуржцев примкнула Зоя Борисовна.

Почти никого из тех, о ком идет речь в этой книге, уже нет на свете. Вспомним их, мысленно поблагодарим. Да, тени, но есть ли кто их живет? Пройдут годы, сменятся поколения, а о них будут помнить. Ведь если не о них, то о ком?

Звонок

Какой это был час? Вернее всего сказать – тихий. И не потому, что послеобеденный, а оттого, что не обещающий никаких событий.

Сажу за столом, проверяю студенческие работы. Иногда с укором поглядываю на телефон: что это никто не отвлечет меня от служебных обязанностей?

Уж не трудятся ли авторы курсовых на телефонной станции? Впрочем, по текстам видно, народ не сильный. Даже если их туда примут, вряд ли они там долго продержатся.

Словом, не ждешь ничего, а тут веселая трель. Помнится, в школьные годы так звенел звонок на перемену.

Столько времени не было совсем ничего, а тут две новости сразу! Во-первых, приятель собирается ко мне зайти. Во-вторых, сейчас он в гостях у Зои Борисовны Томашевской.

Оказывается, мы с Зоей Борисовной соседи. Нет, она не покинула родительской квартиры на канале Грибоедова, но в последние годы по большей части живет в Пушкине, в Доме ветеранов архитектуры.

Так что извините, дорогие студенты. Безусловно, я буду лучше о вас думать, если не стану дочитывать ваши труды.

Место

Наш дом двадцать три прямо напротив Дома архитектора. Если сейчас я пойду в соседнюю комнату, то в окно увижу постройку из красного кирпича.

Советское такое сооружение. Не худший вариант тех зданий, что когда-то возводили его нынешние обитатели.

Есть что-то грустное в том, что люди, всю жизнь посвятившие строительству, в конце концов соединяются в одном месте. Помимо этого, в их жизни больше не будет домов.

Зимой архитекторов совсем не видно. Ну если только вдруг промелькнет кто-то, а потом опять тишина и пустота. Зато летом целый день все скамейки заняты. Не считая, конечно, перерыва на мертвый час.

Я тут тоже иногда присаживаюсь. Приобщаюсь к сообществу творцов отечественного конструктивизма и неоклассицизма.

Сижу, вспоминаю. Ведь это не первое такое заведение в моей жизни. Недавно я оказался в «Русском доме» под Парижем.

Отступление в сторону Парижа

Надо сказать, зрелище тоже не то чтобы оптимистическое. Правда, культурных ассоциаций больше.

Для обитателей «Русского дома» не завершился девятнадцатый век. Конечно, и двадцатый чувствуется, но девятнадцатый все же сильнее.

Основательница пансиона для эмигрантов из России княгиня Мещерская украсила коридоры портретами Александра Первого. Так какая-нибудь фанатка завешивает свою комнату фотографиями любимого актера.

Император и впрямь не уступит Хабенскому с Пореченковым. Высокий, широкоплечий, в глазах горит огонь.

Такое впечатление, что здесь еще переживают завоевание Парижа. В глубине души не могут согласиться, что так легко вернули город французам.

Из всех многочисленных обитателей этого дома меня больше всего интересовала Зинаида Алексеевна Шаховская.

Этаж, помнится, второй, номер шестнадцать. Большая комната в два окна. Когда я вошел, княгиня сидела на кровати и ела борщ.

Роста Шаховская была маленького, а в таком пространстве казалась просто крошечной.

Поэтому так удивлял голос. Сама-то ненамного выше стоящей перед ней тележки, а интонации резкие и звонкие.

– Как вы могли без предупреждения прийти к носительнице высших орденов Франции? Будь я Александр Исаевич Солженицын, я бы вас выбросила в окно.

Это, конечно, она так. Чтобы помнили, что она известная писательница, потомственная дворянка и бывший главный редактор популярной газеты.

Уже через минуту она была не Александром Исаевичем Солженицыным, а самой собой.

Вспомнит кого-то из своего прошлого и сразу обнаружит в нем нечто забавное.

И не посмотрит, что великий человек. В той же степени будет строга и к Бунину, и к Лифарю. Да и как могло быть иначе, если все, о ком она говорила, были для нее живы.

Это для нас каждый из них классик, бюст на шкафу в учительской и статья в энциклопедии, а для нее коллега и хороший знакомый.

А над знакомым отчего не пошутить? Не выразить удивление по поводу того, что Лифарь мог приврать, а Бунин больше прозы ценил свои стихи.

Зинаида Алексеевна прищуривает глаза. Мол, неужто вы ничего не поняли? Если вы считаете, что прошлое завершилось, то тут дело в вас самих.

Еще из той парижской поездки вспоминается разговор по телефону с Ростиславом Добужинским, сыном прославленного мирискусника.

Голос глухой, словно говорит не в трубку, а в трубу. Все не перестает удивляться, что кому-то может быть интересен.

– Я же ископаемое...

Действительно, ископаемое. Вроде рядом, на расстоянии телефонного провода, а на самом деле далеко.

Тут, конечно, не только в возрасте дело, но в историческом провале. В том, что

Повесть наших отцов,
Точно повесть из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится

Точно во сне.

Это Пастернак написал в двадцать шестом году. Совсем недавно миновали рубеж, а ощущение такое, что прошло не девять, а двести, триста, четыреста лет.

Отступление в сторону кабинета

Помню, в семидесятые годы рассказывали историю про питерскую старушку, отправившую письмо приятельнице в Крым.

В адресе она написала «Дом актера», а для ясности уточнила: «Б. дом барона Врангеля».

Особенно забавно в те времена выглядел этот Врангель. Примерно так, как если бы на письме в Армению кто-нибудь написал «бывший Урарту».

Сейчас никто бы не улыбнулся. Всякому приятно пожить не в каком-то там санатории, а в доме самого барона.

И все же, несмотря на эти перемены, минувшее все дальше и дальше. Оно уже настолько далеко, что, кажется, никогда с ним не пересечься.

Чувство это, конечно, не новое. Еще в шестидесятые годы существование прошлого вызывало серьезные сомнения.

Когда Иосиф Бродский впервые попал к Томашевским, то как-то сразу посерьезнел.

Может, это и называется протяженностью времени? Тут время не начиналось и не подходило к концу, а продолжалось. Связывало эпохи и устремлялось дальше.

Очень быстро Бродский нашел разгадку. Уверенным шагом направился к стоящей на столе фотографии Бориса Томашевского.

Чаще всего люди на снимках спокойно смотрят перед собой, а тут взгляд быстрый и как бы наискосок.

Сразу чувствуется отдельность. Не то чтобы желание возразить, но совершенная невозможность с чем-то заранее согласиться.

Кажется, все это было Бродскому по душе. «Вот, – сказал он, – по-настоящему свободный человек».

Немного сведений

Не слишком ли быстро я приступил? Есть у меня такая дурная привычка. В первый же день нашего знакомства Зоя Борисовна сказала, что при таких скоростях я никогда не замерзну.

Поэтому немного притормозим. Хотя бы для того, чтобы подробнее представить мою соседку.

Конечно, тому кто живет в нашем городе, ничего объяснять не надо. Все же петербургскому уху эта фамилия не чужая.

Во-первых, отец, Борис Викторович, знаменитый пушкинист. Во-вторых, мать, Ирина Николаевна, известный литературовед.

Еще вспомним ее родного брата, Николая Борисовича, переводчика с итальянского и, как они все, человека многих дарований.

Сама же Зоя Борисовна – архитектор. Точнее сказать, специалист по интерьерам.



Зоя Борисовна Томашевская. 31 декабря 2005 года.

Не всегда человек совпадает со своей профессией, но тут совпадение полное. Если есть дело, в котором она должна была выразиться до конца, то это создание среды.

Вот действительно петербургское занятие. Ведь и Петр создавал среду. Начал с пустого места, а потом заполнил его дворцами, каналами и мостами.

Разговоры при свидетеле и без

С тех пор мы с Зоей Борисовной стали видеться. Иногда по несколько раз в день. Еще немного беседовали по телефону.

Как уберечь свалившиеся на меня сокровища? Ведь если хоть одна подробность не уцелеет, то потом придется жить без нее.

Вскоре выход был найден – ну, конечно, диктофон. Уж он не даст пропасть ни одному слову.

Теперь в наших встречах появилось что-то конспиративное. Какие-то кассеты и провода. Прежде чем начать беседу, мне следовало дать отмашку.

– Ну, включаю, – сурово предупредил я.

В России любят разговаривать подолгу. Не было бы этой привычки, вряд ли могла возникнуть чеховская драматургия.

Так что избранный нами жанр – вполне утвердившийся. Пусть диктофон «Сони» – это влияние Запада, но общий тон традиционный.

Что, мол, да как. Почему жизнь пошла по этому, а не по иному пути. Что оказалось главным, а что второстепенным.

Время от времени я поглядывал за техникой, но тут все обстояло наилучшим образом. «Сони» трудился, что только есть сил. Как говорится, на полную катушку.

Иногда я все же не поспевал. Придешь по какому-то прозаическому поводу – что-то нужно купить или принести, – а тут она начинает рассказывать.

Сразу вытаскиваешь карандаш и блокнот. Или возвращаешься домой и записываешь по памяти. Что, как вы понимаете, так же непросто, как зафиксировать дождь или снегопад.

Из разговоров. Родители, детство

Зоя Томашевская (ЗТ): Когда Анна Андреевна заболела, количество моих обязанностей увеличивалось. Что-то принести, купить, причесать, помочь одеться... Как-то она лежала в больнице Ленина. Палата большая, вместе с ней десять старух. Она сама такую выбрала. Сказала: «Сохрани Бог от трехместной или двухместной. Однажды я попала в такую, так меня замучили вопросами, был ли у меня роман с Блоком». – Я ей на это говорю: «Ну и подтвердили бы, что был. Что вам, жалко?» – «Ну что вы, Зоя. Если я скажу, что не был, никто не поверит, а если скажу, что был, то что я буду рассказывать дальше?»

Александр Ласкин (АЛ): Ну так начнем, заручившись поддержкой Анны Андреевны... Сначала, может, о детстве? Интересно, в какой степени, будучи ребенком, вы замечали ход истории? Не замечали вообще? Или какие-то отголоски доходили?

ЗТ: С сегодняшней точки зрения мое детство особенное... Во время обеда нам с братом запрещалось вмешиваться в разговоры папы с мамой... Не позволялось входить в родительские комнаты без стука. Не разрешалось сидеть вместе с гостями... Впервые я получила на это право, когда мне исполнилось шестнадцать лет. Брата Колю уложили спать, ему было четырнадцать, он плакал... К нам пришел Юрий Николаевич Тынянов. Прежде я видела Тынянова, открывала ему дверь, он надписывал нам с Колей книжки, но за столом с ним я оказалась впервые.

АЛ: А что происходило в этой вашей отдельной от взрослых жизни? Чем занимались? Чему отдавали предпочтение?

ЗТ: Мой брат совсем маленьким стал безумным бонапартистом. Спал не с зайчиком, не с мишкой, не с куколкой, как другие дети, а с бронзовым Наполеончиком... С малолет-

ства начал покупать французские книжки. Даже когда французский знал неважно. Чтобы его собрание пополнялось, постоянно требовались деньги. Он все время пытался заработать на мне. Прошу его переставить стол или перевесить полку, а он говорит: «Десять копеек»... Когда папа пообещал, что за каждый молча проведенный обед он будет давать по рублю, Коля и рубля не выиграл... Для членов Союза в Лавке писателей продавались книги со скидкой двадцать процентов. Коля брал на имя отца книги и продавал в соседнем магазине. Разницу тратил на роскошные издания, которые покупал в той же Лавке... Занимался он этим вместе с Киркой Мариенгофом... И Кирка, и мой брат были пижонами, поэтому больше всего ценили сафьяновые переплеты и все такое...

АЛ: А когда вы узнали о том, что происходит в мире взрослых? И, самое главное, почувствовали, насколько это серьезно?

ЗТ: Первые мои сильные впечатления – раскулачивание. Было это в Волхове, где мы жили у бабушки и ее второго мужа. Помню, как сжигали дома и яблоневые сады кулаков. Еще помню рыдающих крестьян, которых увозили куда-то на телегах.

АЛ: По сути, наши разговоры – о том, как разные люди переживали это время. Что чувствовали? Страх? Унижение? Отгораживались? Замыкались в себе?.. А как со всем этим справлялись дети? Какую роль тут играли родители?

ЗТ: Нам с Колей говорили все. Не нагнетали, но в то же время ничего не скрывали. Говорил папа и о раскулачивании, читал стихи Алексея Константиновича Толстого:

Чужим они, о лада,
Не многое считают:
Когда чего им надо,
То тащут и хватают.

Папа был человек очень ироничный. Одно время мы жили у настоятеля Князь-Владимирского собора Красницкого. Этот Красницкий был очень хороший хозяин. Каждый день с граблями в руках убирал свой сад. Когда Коля пошел в первый класс, то сразу набрался школьной белиберды. Однажды подошел к священнику и сказал: «Поп! Ты этими граблями деньги грабишь?» Красницкий положил руку ему на голову и тихо произнес: «Детка, ты вырастешь и будешь все знать. А сейчас не задавай таких вопросов». Отец потом посмеялся и строго Колю отчитал: «Невежливо так говорить человеку в лицо». В это время празднование Нового года с елкой было большой смелостью. Помню, папа принес домой елку разрубленной на части, а потом ее составил вновь... Когда я впервые увидела украшенную игрушками елку, то рыдала и закрывала лицо руками: «Не хочу на нее смотреть...» Это мне в школе так объяснили.

Какое-то время у нас жил сын Заболоцкого Никита. Вернее, у нас он ночевал, а днем его уводили домой. Его мама, Катерина Васильевна, боялась, что если ее ночью арестуют, то Никиту и Наташу возьмут в детдом. Был тогда Никита худенький-худенький, шейка длинная-длинная, мать его называла: «Мой индюшонок». Как-то вернулся Никита из школы и сказал: «Празднование пасхи – это выдумки попов...» Катерина Васильевна попыталась возразить, но Никита стоял на своем. Прямо-таки потребовал: «Пожалуйста, чтобы в нашем доме ничего такого не было». Тогда его бедная мать в совершеннейшем ужасе сказала: «Мне придется поговорить с Ириной Николаевной». Никита был умница, и мою маму очень почитал. Катерина Васильевна маме все рассказала, но та почему-то не захотела с ним беседовать. Вскоре наступила Пасха. У нас дома это был особенный день, мама к нему всегда заранее готовилась. Пасхи она делала замечательные. Шоколадная... Самая любимая – сметанная без творога. Расписывались яйца, стол украшался бумажными цветами. И на этот раз все было, как обычно. Вкусно и очень красиво.

Из Москвы приехал Анциферов, пришли Лозинские, Катерина Васильевна с детьми. Все сидят за столом, а Никите ничего не предлагают. Когда мама несет блюдо с яйцами, непременно обращается к каждому – «Зоинька!», «Наташенька!», «Михаил Леонидович!», – а Никиты как бы нет... Он насупился, молчит... Что-то пытается понять.

АЛ: И как он это пережил?

ЗТ: Мальчик был очень смысленый. Мама, конечно, исходила из его возможностей. Никиту она любила как собственного сына.

АЛ: Ваши родители были верующими?

ЗТ: Мама – очень, отец – нет. Папа утверждал, что атеизм – тоже вера. Вообще, это поколение по-особому обустроило свое верование. Анна Андреевна была человеком очень верующим, а в церковь не ходила. Когда настоятеля Князь-Владимирского собора, несмотря на то, что он был «красный священник», арестовали, нас тоже попросили из его дома. Какое-то время мы жили у папиной ученицы по Институту истории искусств, Нины Рыбаковой. Она была дочерью настоятеля Цусимской церкви. Жизнь рядом с храмами во многом определила то, что я стала человеком верующим.

АЛ: Крым – это отдельный сюжет вашего детства. Как я понимаю, с дачной жизнью для Томашевских многое связано...

ЗТ: Первый раз мы приехали в Коктебель в тридцатом году. Снимали домик вместе с Андреем Белым. Мы, дети, Белого очень полюбили еще по Ленинграду. Когда мы жили у Князь-Владимирского собора, он у нас всегда останавливался. Прежде он всегда жил у Иванова-Разумника в Царском, а когда Разумника арестовали, то у нас.

Белый с женой были такие тихие и белые. Всегда в светлых льняных одеждах и панамках. И волосы седые. А глаза синие-синие, как коктебельский залив. Белый собирал камешки. Причем его интересовали не какие-нибудь сердолики, как всех. Камни могли быть непримечательные, – почти что кирпич, – но с замысловатыми черными прожилками. Находил он их под Карадагом и называл «полинезийцами». Мыл, обмазывал маслом, раскладывал на балконе. Придумывал разные замечательные истории. Что-то вроде романов Купера. В них камни представляли живыми людьми наподобие индейцев или тех же полинезийцев. Все это рассказывал не столько нам, сколько себе, а мы с братом при этом только присутствовали. Слушали его, открыв рот.

Часто к любимому нами Белому приходил в гости человек, который нам очень не нравился. Говорил он раздраженно и громко, был всегда чем-то недоволен, все время с Белым спорил, читал стихи визгливым голосом. Мы в эти часы старались сбежать. Однажды папа сказал: «Дурачки вы маленькие. Потом вырастете и будете всем говорить, что жили в одном доме с великим русским поэтом Андреем Белым, а к нему приходил великий русский поэт Мандельштам».

АЛ: А Вы не ощущали себя человеком, который знает что-то такое, что другим знать не дано?

ЗТ: Я не была такой уж умной. К тому же многого просто не понимала. Переезд на канал Грибоедова, 9 в тридцать четвертом году – это, можно сказать, конец детства.

АЛ: Для кого-то детство кончается значительно позже.

ЗТ: Дальше было разумное детство. Я уже что-то любила, что-то не любила, чем-то интересовалась, что-то понимала или не понимала... Нашими соседями стали Шварц, Житков, Кибрик, Корнилов, Зоценко. В какие-то дни двери просто не закрывались. При этом не то чтобы кто-то с кем-то особенно дружил. Настоящая дружба была, пожалуй, только с Соколовым-Микитовым. Ну, еще со Шварцем. В доме жили и совсем другие люди. Лесючевский, который знаменит тем, что посадил Заболоцкого и Корнилова.

АЛ: Когда вы поняли, что есть разница между Лесючевским и Шварцем?

ЗТ: Это очень просто. Родители строго-настроено нам сказали, к кому можно, а кому нельзя ходить. С Лесючевским просто никто не здоровался.

АЛ: События окружающей жизни вам объясняли родители... А как вы догадались, что Ахматова – великая поэтесса? Или Тынянов – замечательный писатель? Ведь в школе об этом не было речи?

ЗТ: Это тоже благодаря родителям. Папа был авторитет непреложный. Если он что-то сказал, значит так оно и есть.

АЛ: А если учительница что-то сказала...

ЗТ: Тут доверия полного не было. Приходя домой, я пересказывала кое-что папе, и по его реакции пыталась понять, насколько это так.

Царское как село

История культуры – бесконечное понятие, но рядом с моей собеседницей оно обретает объем и фактуру.

Зоя Борисовна сама попыталась найти этому определение. Тетрадка, куда она вписывает самые необходимые для себя мысли, начинается цитатой из набоковского «Пнина»: «Он замыслил написать *Petite Histoire* русской культуры, где собрание русских курьезов, обычаев, литературных анекдотов и так далее было бы представлено таким образом, чтобы в нем отразилась в миниатюре *La Grande Histoire* – Великая взаимосвязь событий».

Можно было привести не слова Набокова, а виды Царскосельского парка. Это, в принципе, о том же. Пространство небольшое, а столько всего вместило в себя.

Лучше всего рассматривать парк с вертолета. Тогда-то станет очевидно его родство с географической картой.

Представляете? Территории очерчены извилистой линией, а города и страны обозначены рисунками.

К примеру, Стамбул – баня, Антверпен – круглый дом-башня, Рим – сине-белый павильон, Каир – аккуратная, маленькая пирамидка...

Китайская деревня демонстративно вынесена за ограду. Почему? Потому, что другая цивилизация. Даже Египет создателю этого места виделся не таким чужим.

Можно и не виды вспомнить, а пушкинское: «Отечество нам Царское Село». Эту короткую формулу буквально переполняют несоответствия.

В самом-то деле. С одной стороны – отечество, с другой – село. Да и в названии резиденции пропорции смещены.

Уж, конечно, и Гоголь об этом размышлял. Вполне вероятно, что, сочиняя свой Миргород, он и резиденцию имел в виду.

Что за удивительное слово – Миргород! Мир-город. Все равно, что какой-нибудь город-государство Древней Греции или Финикии.

Ну а Царское чем хуже? Царское плюс Село. Огромное и незначительное как бы уравнены между собой.

Кажется, в этом месте крайности примиряются. Вдруг убеждаешься, что «величие» не противоречит «обыденности», а «большая» и «малая» истории тесно связаны между собой.

Знаете ли вы еще город, который был бы настолько похож на свое название? Так подзаголовок «роман» предупреждает о том, что дальше будет роман.

Игры на воздухе

Как-то в Екатерининском парке я нос к носу встретился с императором. Был это последний, уже не имеющий прав представитель династии.

По-русски император говорил плохо, но явно чувствовал себя здесь как дома.

Особенно нравилось ему небольшое войско, поставленное для красоты у ворот. Только он заметил палаши с киверами, так сразу засиял.

Затем подошел к этой четверке и попытался ее возглавить. Повернулся всем корпусом, как главнокомандующий на параде, и поднял ладонь к виску.

Не только ему что-то напомнили люди в военной форме, но они тоже заулыбались и разразились длинным «Ура».

Ощутили, значит, упущенную возможность. Ясно увидели себя не на этом месте у входа, а в плотной толпе преданных войск.

В этом городе несколько повышенный уровень сочиненности. Словно он представляет собой не место жительства, а место действия.

Нет, не зря здесь хорошо самым пожилым и самым маленьким. Ведь это людям среднего возраста воображение необязательно, а дети и старики пребывают в мире грез.

Царское как село (продолжение)

Потому-то Царское – «город муз». То, что само по себе художественное произведение, естественно, привлекает к себе творцов.

К примеру, директор гимназии – поэт, а двое его воспитанников – тоже поэты. Получается своего рода грибница.

Каждый из авторов хочет о городе рассказать. Считает себя обязанным создать нечто такое, что будет равно полученному подарку.

Иногда ориентируются на предшественников, а порой начинают с начала. Демонстрируют, что предпочитают идти своим путем.

С удивлением замечаешь среди последних Ахматову. Отчего-то эта лучшая из наследниц на сей раз своим богатством пренебрегла.

Но тебя опишу я,
Как свой Витебск – Шагал.

Только пожмешь плечами. Сколько поэтов писали о резиденции, но Анну Андреевну это не очень интересует.

Желает, видите ли, быть как витебский мастер. Хочет, чтобы в ее стихах было столько же странного и причудливого, сколько на его холстах.

Вряд ли это неблагодарность. Просто с тем Царским, которое она любит, сочинения ее предшественников не пересекаются.

Во-первых, в самом деле провинция. Пусть даже дворцы в центре, но все вокруг напоминает заштатный городок.

Ахматова – соавтор Шагала

Так сказать, резиденция с человеческим лицом. Официальное и приватное тут внутренне связаны.

Возможно, этим определяется чувство достоинства. Какая-нибудь скромнейшая улочка нисколько не робеет перед парком.

Так же было и в шагаловском Витебске. Любой переулочек у художника превращался почти во вселенную.

Сколько таких переулочков он нарисовал! Немного поплутаешь по их коленцам – и сразу достигаешь Бога.

Вот и в Царском все начинается с переулочка. Невозможно представить, что Ляминский или Новый вдруг куда-то исчезнут.

А тому переулочку
Наступает конец...

Бывает, катастрофа накрывает целиком, но в данном случае она отнимает одну подробность за другой.

Шагал тоже двигался от частного к общему. Ни за что не забудет того крохотного человека, что под забором справляет нужду.

И Анна Андреевна все помнит. В своей оде представила что-то вроде описи навсегда утраченного времени.

Только в первых строках упомянула рыжего рысака, чугунок и кабак. Затем последовали матовый свет фонарей, придворная карета, голубые сугробы...

Такой мартиролог. Ушедшего столько, что ни одно стихотворение не сможет вместить в себя все.

Впрочем, расстраиваться нет оснований. Даже если не получится жить в этом городе, его легко унести с собой.

Настоящую оду
Нашептало... Пстой,
Царскосельскую одурь
Прячу в ящик пустой,
В роковую шкатулку,
В кипарисный ларец...

Тут опять одно наслаивается на другое. С одной стороны, роковая шкатулка – это Анненский, а с другой – Шагал.

Это ведь для Шагала не существовало расстояний. Где бы он не находился, его Витебск оставался с ним. Любопытно, что ахматовская метафора имела продолжение.

Мы еще упомянем о том, что в поздние годы Анна Андреевна завела синюю сумочку. Здесь хранились самые дорогие для нее вещи и рукописи.

Хоть и выглядела сумочка поскромнее ларца, но уж точно не уступала ему вместительностью.

Откроешь, а там – Царское Село. То есть, конечно, не только знакомые интерьеры и пейзажи, но весь канувший вместе с ними мир.

...и Бродский

В истории всегда так. Если что-то существенное начинается, то оно обязательно имеет продолжение.

Вот и высказанная вслед Шагалу мысль Ахматовой – одна из самых далеко идущих. Для нас особенно важно то, что ее подхватит еще один знакомый Томашевских.

В «Письмах римскому другу» тоже сказано о провинциальном. О том, что ситуация не покажется столь кромешной, если увидеть ее со стороны.

Для людей той эпохи позиция характерная. Один режиссер часто повторял, что когда он сталкивается с чем-то нехорошим, то выходит покурить.

Кстати, поэту неслучайно понадобилась костюмировка. Значит, и он сам хотел бы от современности уйти.

Если выпало в империи родиться,
лучше жить в глухой провинции, у моря...

Словом, опять же одного нет без другого. Раз есть Царское, то должно быть и сельское. Если на одном полюсе – империя, на другом – щебетанье дрозда.

Кто следующий вслед за Ахматовой и Бродским? Конечно, Зоя Борисовна. Правда, свои мысли она превратила не в формулу, а в решительный поступок.

Резиденция Зои Борисовны

Что означает «в глухой провинции, у моря»? Если отбросить римские аналогии, что будет в остатке?

Зоя Борисовна давно задумала поселиться в Царском или Гурзуфе. За это время Гурзуф удалился за границу, а резиденция все еще находилась рядом.

Конечно, дело не только в воздухе и парках, но в возрасте и болезнях. В казенной обстановке эти трудности переживаются легче.

Все бы хорошо, но немного мешает казенность. Ощущение временности въелось так, что акварели по стенам ничего не могут изменить.

Если не больница, то гостиница. Коридор длинный и всегда пустой. Словно рассчитанный на эффектный выезд коляски.

Чаще всего тишина абсолютная, а вдруг грохот. Значит, уже два. В это время по комнатам здешних постояльцев развозят обед вместе с ужином.

Отчего, спросите, не одно или другое? Да из-за нехватки времени. Не могут же работники кухни весь день находиться среди дыма и огня.

На все это Зоя Борисовна смотрит философски. Резким движением отставит тарелку и начинает вспоминать.

Царское – не только город, но как бы точка зрения. Многие события отсюда видятся по другому.

Можно сказать, в прежние годы ее зрение отличала близорукость, а теперь дальнорукость.

Все, что удалилось, стало отчетливей. Чем непреодолимей дистанция, разделяющая с дорогими людьми, тем более они близки.

Из разговоров. Ирония, шутливость, игра

АЛ: У нас принято превращать замечательных людей тридцатых годов в героев. Людей не только без страха и упрека, но и без юмора. Это коснулось даже Ахматовой.

ЗТ: Да, да... Лидия Чуковская написала прекрасную книгу, честь ей и хвала. Правда, Ахматова ее «Записок» уж очень похожа на саму Лидию Корнеевну. Столь же безапелляционная, требовательная, почти революционерка. Вот когда пишет Раневская – это дело другое. Анне Андреевне с Чуковской всегда было непросто. Хотя та действительно вечно ее куда-то волокла, устраивала ее житейские дела. Лидия Корнеевна была в отца... Корней Иванович тоже человек крайностей. Правда, при этом лукавый. Все завещал внучке Люше, зная, что та сделает так, как хочет он... Люша сама мне говорила, что первая ее обязанность – помочь Солженицыну.

АЛ: И она действительно помогала?

ЗТ: Долгое время Александр Исаевич просто жил у Корнея Ивановича в Переделкино. В его комнате около кровати всегда стояли вилы. Держать пистолет или ружье он опасался, а с вилами чувствовал себе спокойней... Подобная стилистика чужда и Анне Андреевне, и моему отцу.

АЛ: Ирония – не что иное как «остранение», если говорить в терминах знаменитой теории Шкловского времен ОПОЯЗА. «Остраненный» я понимаю как «странный». Для того, чтобы что-то оценить в его первоначальном значении, нужно увидеть это как странное, отдельное, не такое как остальное.

ЗТ: Вот папа и «остранял». Приходит с какого-то заседания, а мама его спрашивает: «Что было?» – «Да ничего не было.» – «Столько часов сидели и ничего не было?» – «Ну очередную форточку разбил Шкловский». . . И еще. После войны Роман Якобсон спрашивает папу в письме: «Почему ты ничего не пишешь о том, что делают русские формалисты?» – «Если ты хочешь знать, что делают русские формалисты, читай газету «Культура и жизнь». Через некоторое время письмо вернулось с наклейкой: «Газета «Культура и жизнь» за границу не поступает».

АЛ: Это очень похоже на одну историю, которую я слышал от Екатерины Константиновны Лифшиц, вдовы Бенедикта Лифшица. Как-то Хармс у себя в комнате вместо люстры повесил что-то невообразимое. Помесь велосипедного колеса, керосинки, еще каких-то железных деталей. Буквально на следующий день явились люди с проверкой. Как видно, Борис Викторович тоже догадывался о том, что реакция на его фразу непременно последует.

ЗТ: Возможно, потому, что папа сам умел шутить, он так ценил чужие шутки и розыгрыши. С удовольствием рассказывал о том, как Блоку, Щеголеву и Алексею Николаевичу Толстому поручили редактировать записи допросов Временного правительства. Блок отнесся к этому основательно, а Толстой и Щеголев не очень. Люди они были веселые и, обрабатывая архивные материалы, сочинили дневник Вырубовой. . . Текст опубликовали как настоящий дневник фрейлины. Папа со Щеголевым не просто дружил, он его обожал. Эту историю он, скорее всего, знал от него.

АЛ: Поговорим о роли игры в жизни людей поколения ваших родителей. Все вокруг них было крайне серьезно, а они, напротив, шутливы. Таким образом серьезность снижалась.

ЗТ: Многие прикрывались масками чудаков. И Борис Викторович тоже. Всякий момент своей жизни он умудрялся как-то по-особому повернуть. Вот он во время экзамена. После войны в институте было холодно, экзамены разрешали принимать дома. Папа посадил студентов в кабинете, а сам ушел на кухню. Мама возмущается, а он говорит: «Пятерку ставлю тому, кто найдет книжку, в которой есть ответ». А на полках – все словари, Брокгауз, но надо же знать куда ткнуться. . . Вообще, он очень любил экзамены, ведь иногда студенты говорят вещи поистине удивительные. Например, папа спрашивает: «Кто такой Вольтер?», а студентка отвечает: «Бог любви». Борис Викторович улыбается: «Вольтер был бы польщен». Или просит студента назвать сказку в прозе Лермонтова, тот мнется, потом произносит – вместо «Ашик-Кериб» – «Ошибки рыб». «Интересно, – говорит папа, – что это за ошибки были у рыб?»

О революционных событиях Борис Викторович тоже говорил насмешливо. Вот история о том, как в Царском поставили монумент Карлу Марксу. Бессмертный рассказ! Потребовался памятник великому основоположнику. Как же без него? Оказалось, памятник уже существует, остается только его водрузить. Сам Луначарский приказал все организовать. Торжественная церемония, куча приглашенных, оркестр. . . Снимают белое покрывало. Все видят голову Вакха, которую незадолго перед этим нашли в Царскосельском пруду. Действительно, вылитый Маркс, но с рожками. Открыли памятник, а через некоторое время тихо закрыли.

Это был такой стиль. Вовочка. Наденька. Ленина называл Лукичом. Говорил, что Лукич, как все жестокие люди, отличался сентиментальностью, а потому Наденька на сон грядущий читала ему «Сверчка на печи». . . Папа любил всех показывать. Мог и Сталина изобразить, но все же это было ему не так интересно. Очень уж жестоко все, что связано с этим человеком. . . Замечательная была история об электропоезде. Ленин связывал с этим поездом особые надежды. Сделали его так. Со всех подлодок сняли аккумуляторы и поместили на платформы. Поезд почти целиком состоял из аккумуляторов, а потому вагон был только один. На эту тему в газетах подняли шум. Каждый день сообщалось, что электропо-

езд дошел до такой станции... до такой... Но затем поезд сдох... Как человека, имевшего техническое образование, папу это очень сместило.

АЛ: Техническое?

ЗТ: Борис Викторович с восьмого по двенадцатый год учился в Бельгии на физико-математическом факультете Льежского университета. После отправился в Париж и два года занимался на математическом отделении Сорбонны. Что, правда, не мешало ему увлекаться гуманитарными предметами. Страшно интересовался Толстым, познакомился с Чертковым и чуть не стал толстовцем. С этим связан один из самых любимых его рассказов...

В десятом году он со своим другом и однокурсником Поповым поехал в Ясную Поляну. Приехали, а Толстой умер. Уже собрались назад, а Чертков говорит: «Обязательно поговорите с таким-то, из всех слуг он был ближе всего к Льву Николаевичу». Встреча состоялась сразу после похорон. Этот человек с удовольствием рассказывает, но почему-то в основном про Софью Андреевну и детей. Папа с Поповым слушают-слушают, но затем перебивают: «Нам хотелось бы узнать о Льве Николаевиче. Софья Андреевна нас как-то меньше интересуется». Тот продолжает – и опять про Софью Андреевну. Они опять: расскажите про Толстого. И тогда он говорит: «Да что Толстой... Мусорный был старик». Анна Андреевна очень любила эту историю. Часто повторяла: «мусорный старик».

Таких сюжетов было множество... В самые тяжкие годы папу не покидала веселость. И его друзья это подтверждают. Сколько разных историй я слышала от Бялого! Где ни встречу Григория Абрамовича – на улице, на концерте – он непременно что-то такое расскажет. Как-то встретившись с ним в туалете, папа сказал: «Единственное место в Пушкинском доме, где можно дышать». И еще – сидят они на политзанятиях. Как полагается, спят. Тут лектор говорит: «При коммунизме не будет национального вопроса». Борис Викторович очнулся и громко сказал: «Как? И всех будут брать в аспирантуру?» Особенно строг папа был к своим коллегам по пушкинизму. Дачу Мейлаха в Комарово называл «Спас на цитатах». Имея в виду неисправимый марксизм Бориса Соломоновича...

АЛ: Очень хорошо помню эту дачу. Таких красных тонов. Еще ее называли Мейлахов курган и Цитатель. «Т» вместо «Д».

ЗТ: Шутил Борис Викторович и на куда более возвышенные темы. Даже Анне Андреевне доставалось. Как известно, на всех своих многочисленных тетрадях Ахматова написала: «В Пушкинский дом». Папа комментировал это так: «Вот где завершится роман Анны Андреевны с Пушкиным»...

Его шутки всегда были к месту. А иногда их действие было спасительным. Как-то приходим в филармонию, а буквально перед нами сидит мой муж со своей дамой. Я растерялась. Папа наклонился ко мне и сказал: «Мне это доставляет куда больше удовольствия, чем Грегуар за нашим столом». И мне сразу стало весело.

Всегда он что-то эдакое цитировал. Очень любил Козьму Пруткову, чье первое издание подготовил... Потом прибавился «Мастер». В сороковые годы Булгаков уже вовсю присутствовал в нашем обиходе. «Аннушка уже пролила масло», – это была у нас крылатая фраза. Если что-то казалось неотвратимым, то «Аннушка» сразу припоминалась.

Папа очень любил анекдоты. И высоко ценил людей, которые, как он считал, способны анекдоты придумывать. Поэтому, когда прошел слух, что Радек арестован, он сказал: «Если анекдоты прекратятся, значит, это правда». Вот его любимый анекдот. Человек выходит из дома. Похороны. Присмотрелся и видит, что его приятель сидит в гробу. «В чем дело?» – «Меня хоронят» – «Так ты же живой» – «А кого это интересуется?»

АЛ: А что Борис Викторович испытывал, возвращаясь с разного рода проработок? Ведь будучи членом коллектива, он не мог не присутствовать?

ЗТ: Еще раздеваясь в коридоре, громко обращался к нам: «Запомните, ребята, наш порог не переступал ни один мерзавец». Если это слышишь тысячу один раз, в конце концов

начинаешь усваивать... Возвращаясь с какой-нибудь панихиды, на которой люди, отравившие жизнь покойному, слагали ему оды, он говорил: «Только меня, пожалуйста, без месткома».

АЛ: Ну а были какие-то вынужденные визиты? Какой-нибудь папин начальник хочет навестить его на дому?

ЗТ: Боже сохрани. Не могу такое представить. Хотя к некоторым начальникам относился с симпатией. К директору Пушкинского дома Базанову, например. Это был человек адекватный, понимавший свое место. Многие обязательные мероприятия папа не посещал благодаря своей беспартийности. Он вечно куда-то уезжал, одно время читал лекции в Московском университете. Его очень поддерживало то, что у него про запас была еще одна профессия. Когда его уволили из Пушкинского дома, он сказал: «Что ж, ничего особенного. Буду преподавать математику. В математике еще ничего не запретили». Эйхенбаум, чистый филолог, после всех этих событий просто впал в нищету. Ему оставалось только ходить по друзьям и брать деньги в долг. Помню, приходит как-то Борис Михайлович за очередной десяткой. Открываю дверь, а в это время по радио передают что-то о Леонардо да Винчи. Какой-то у художника юбилей. Я говорю: «Папа сейчас выйдет, он хочет дослушать передачу о Леонардо да Винчи». Когда папа появился, Эйхенбаум вместо приветствия произнес экспромт:

А что касается да Винчи,
То как известно стало нынче,
Он был по матери еврей...
Не состоится юбилей...

Свои книги Борис Михайлович неизменно подписывал папе так: «Соседу не только по надстройке»....

АЛ: Как видно, имелась в виду надстройка не только в конкретном значении – писатели жили в основном в надстройке дома по каналу Грибоедова, – но и в том смысле, в котором базис.

ЗТ: Несмотря на хорошую защитную реакцию, на эту вечную шутливость, нервы у папы не всегда выдерживали. Было одно собрание, где громилась формалисты, на нем он выступал очень достойно, а потом вышел в коридор и потерял сознание. Об этом я сама не знала, а прочла у Ольги Фрейденберг.

Вообще, в это время надо было быть постоянно готовым к переменам... В 1937 году вдруг прекратилась папина работа в качестве преподавателя высшей математики в Институте путей сообщения. Существовал такой Кирпотин. Он и по-русски-то говорить не умел, не то что писать. Сначала председателем Комиссии по подготовке к празднованию столетия со дня смерти Пушкина назначили его. Когда президент Академии наук Отто Юльевич Шмидт стал жаловаться на Кирпотина, Сталин якобы сказал: «А где же формалисты?». Тут папу и отозвали из путевого института. Студенты-железнодорожники по этому поводу обращались в какие-то инстанции. Писали, что был у них замечательный преподаватель математики...

АЛ: ...и тот оказался пушкинистом... Вы знаете, что одновременно с Борисом Викторовичем математику в Ленинградском Путевом институте преподавал Арсений Федорович Смольевский, первый муж Ольги Ваксель, персонаж моей повести «Ангел, летящий на велосипеде»...

ЗТ: ?!

АЛ: Арсений Федорович был человеком совершенно невыносимым – и страшный педант, и неисправимый графоман... Знай я раньше о том, что Томашевский и Смольевский

пересеклись на ниве математики, я бы написал об этом главку. Больно выразительно соседство! Кстати, столетие со дня смерти Пушкина вышло, скорее, в духе Арсения Федоровича, чем Бориса Викторовича. Очень оно было пышным. Будто это не день гибели, а день рождения.

ЗТ: Это, конечно, так, но важнее другое. У меня есть фотография, сделанная в эти дни. Скорее всего, дома у пушкиниста и родственника декабриста Якубовича. На ней снялись все знаменитые ученые этого времени. Есть тут и Ахматова, и Тынников. На столе стоит графинчик водки и лежат несколько кусочков хлеба.

АЛ: Часто шутливость прикрывает безразличие. А вот Борис Викторович, судя хотя бы по этой истории с обмороком, был человеком страстным.

ЗТ: Знаете историю о Михаиле Чехове и Моисси? Мне ее рассказал Абрам Акимович Гозенпуд... Михаил Чехов играл Гамлета. За кулисы заходит итальянский актер Сандро Моисси. Видит на стульях мокрые от пота рубашки. Благодарит Чехова, но при этом выражает удивление, что тот не бережет себя... Моисси уходит и Чехов обращается в сторону двери, за которой скрылся знаменитый трагик: «Не тем местом играешь, немец!»

Паек

Скудная была эпоха. Не только некоторые продукты, но и многие чувства существовали в ограниченном количестве.

Что такое, к примеру, сострадание? Примерный смысл, конечно, понятен, но сравнить свои ощущения не с чем.

Первым о таких метаморфозах узнает филолог. Открывает словарь русского языка, и сразу видит, что осталось важным, а что уже нет.

Именно с этим был связан интерес Бориса Викторовича к академическому Словарю русского языка. Каждый вышедший том сообщал о необратимых переменах.

Когда почтальон принес двадцать третий том, он сразу поинтересовался «состраданием». Да, так и есть. Это слово значилось как «устаревшее».

За долгие годы Томашевский привык, что ученые думают одно, а пишут другое, но в данном случае выходило что-то вроде проговорки.

Собеседница

Вот почему ее так ценили самые разные люди. Все же редко встретишь человека, у которого есть все, что уже не нужно другим.

Как говорила чудесная актриса? «Наше искусство – дым». Зоя Борисовна тоже могла сказать так. Многие десятилетия она только и делала, что старалась скрасить современникам жизнь.

Когда что-то надо, то это к ней. Причем по самым разным поводам. Даже когда она слушала стихи, это выходило у нее замечательно.

Не только обрадуется чужому произведению, но сразу запомнит. Включит в копилку памяти и уже никогда не забудет.

Как-то Ахматова чуть не с укором сказала: «Читать при Зое один раз – это слишком много».

А разве можно пропустить? Все же одна жизнь с этими текстами, а совсем другая без них.

Не только Ахматовой и Пастернаку были нужны эти ее качества, но и Шостакович их оценил по достоинству.

Однажды сказал после концерта: «Вы так слушали!», будто слушать музыку – это почти то же, что ее исполнять.

О чайниках и пирогах

Зоя Борисовна выступала не только в пассивной роли свидетеля. Случалось и ей что-то предложить.

Это только кажется, что если жестикуляцией поэт не уступает патрицию, то свои проблемы он может решить сам.

Сложнейшие преграды Ахматова преодолевала легко, но иногда едва не впадала в панику. Требовала все бросить – и ехать к ней ставить чайник.

После звонка Анны Андреевны Томашевская сразу начинала собираться. Тут ведь не только в чае дело, а в том, что поэту не с кем трапезу разделить.

Она и Зощенко смогла порадовать. В поздние годы он ел помалу, а ее яблочный пирог проглотил целиком.

И пяти минут не прошло, а на тарелке ничего нет. Она даже вслух выразила удивление столь кардинальным решением проблемы.

– Вот это да! А говорят, будто вы ничего не едите.

Михаил Михайлович не подхватил шутливого тона и печально сказал:

– Дело в том, что Верочка ничего не умеет делать. Только чай заваривает. И то только в своей чашке.

Следовательно, пирог Зои Борисовны – нечто большее, чем пирог. Чтобы все получилось так, как она задумала, мало одних кулинарных способностей.

Когда-нибудь напишут историю читателей. Будет она, конечно, потолще, чем история литературы.

В одном из томов найдется место и Зое Борисовне. Здесь будут с благодарностью отмечены все поставленные ею чайники и приготовленные пироги.

Вообще-то миссия у нее не очень определенная. Читатель-советчик-врач. Трудно сказать, какое слово в этой триаде важнее.

Разговоры

Бывает, типографский шрифт не спасает от забвения, а какое-то одно устное высказывание остается навсегда.

Случались в ее жизни разговоры, которые ничем не уступают стихам. Потом она вспоминала некоторые фразы и твердила их как поэтические строчки.

Ведь авторы-то какие! Зощенко, Ахматова, Заболоцкий... К уже существующим собраниям сочинений можно добавить еще не один том.

Все эти реплики, когда-то неосторожно оброненные авторами, долгое время существовали на правах рукописи.

А что за права у рукописи? Практически никаких. Одна надежда на то, что кто-то их сохранит.

Вот она и хранит. Причем не только контур, но такие подробности, которые вообще не должны уберечься.

Это тоже воспитание. Все-таки дочь самого знаменитого заведующего рукописным отделом Пушкинского дома.

С точки зрения ее отца, произведение как здание. Венчает его беловик, но ему предшествуют многочисленные варианты.

Борис Викторович как никто знал цену опискам, зачеркиваниям и вставкам. Умел представить стихи и прозу как долгий процесс.

«Все классические писатели, – писал Томашевский в работе «Писатель и книга», – были когда-то современными писателями; будем думать, что кое-кто из современных нам писателей станет классиком».

Зоя Борисовна тоже живет с таким ощущением. Даже не ощущением, уверенностью. С юных лет у нее не было сомнений, что она напрямую общается с историей литературы.

Порой ее жизнь обретала нехорошее направление – и вдруг неожиданная встреча. Если случилась такая удача, то еще не все потеряно.

Помните мандельштамовскую «спичку серную»? Так вот ей хватало разговора. К тому же тепла от него больше: вспомнил через годы, и на душе сразу светло.

Точность

Арсений Тарковский как-то сказал, что неточная рифма – моральная категория.

Судя по всему, Зоя Борисовна считает так же, как ее давний знакомый. Всякую ошибку мемуариста она воспринимает как измену.

Об этом свидетельствуют ее пометки на полях этого текста. Много раз она обращалась ко мне со своими комментариями и размышлениями.

Для нее возможна только абсолютная точность. Если говорится, что Ахматова звонила, непременно добавит, что с улицы Красной конницы.

Специально отметит, что Шостаковича встретила в дверях. Определенность мизансцены тут столь же существенна как сам разговор.

Важно и то, что это был не просто концерт, а премьера Четырнадцатой симфонии. По ее выражению, «самого страшного его сочинения».

Слово в одной фразе оказалось лишним. «Вы так замечательно слушали» она исправила на «Вы так слушали!». Подчеркнула, что тут имело место повышение голоса.

Надо упомянуть и о том, что в высказывании Зошенко я пропустил имя «Верочка». Ограничился более нейтральным: «жена».

Она, конечно, меня отчитала. Все же с «Верочкой» появляется толика нежности. Как бы обида на то, что вышло так, а не по-другому.

На одной странице она написала: «Ношу эти слова на сердце». Других драгоценностей у нее действительно нет. У кого-то ордена и медали, а ее коллекция знаков отличия состоит из фраз.

Значит, она вся в наградах. Ведь этого богатства за ее жизнь накопилось великое множество.

Из разговоров. Ирония, шутливость, игра (продолжение)

АЛ: Кто-то думает, что воспитание – это прямые указания. Пойди... Выучи... Сделай... А как было у вас?

ЗТ: Я просто жила в этом доме. Среди людей, для которых доброта, уважение друг к другу, ум и благородство были превыше всего. Это был такой котел... Анна Андреевна, Заболоцкий, Рихтер... Папа с Рихтером играл на рояле в четыре руки. Или у них начинались споры о музыке. Сразу доставались клавиры, вспоминались какие-то музыкальные темы. С Гилельсом таких споров не получилось бы.

АЛ: Это почему же?

ЗТ: Потому что Гилельс был просто музыкант. Конечно, великий. Это признавал даже Рихтер.

АЛ: Человек, замкнутый на музыке.

ЗТ: Во время бесед папы с Андреем Белым или Рихтером я могла только присутствовать. Но в дни семейных торжеств мы с братом из наблюдателей превращались в участников. Конечно, главным лицом был папа. Он распоряжался подарками и приглашением гостей. Особенно тщательно готовился к Новому году. Под его двухметровым письменным столом стояла большая коробка от самого первого нашего пылесоса. Технику папа обожал. У нас раньше чем у всех появились пылесос, холодильник, всякие кофеварки, соковыжималки. Он их покупал не в магазине, а еще на выставке. На коробке его рукой было написано: «Новогодние подарки чадам и домочадцам». Коробка заполнялась на протяжении всего года и в нее никто не смел заглядывать.

АЛ: А какие-нибудь самые замечательные подарки помните?

ЗТ: Все подарки были со значением, сопровождалась стишками и песенками. Стол накрывался особым образом. На каждой тарелке – салфетка с приколотым мадригалом и именем адресата. Прежде чем поднять салфетку и обнаружить подарок, надо было прочесть мадригал. Вот, например, посвящение архитектору Игорю Ивановичу Фомину. Сыну, кстати говоря, Ивана Александровича Фомина, которого считают создателем русского неоклассицизма.

Фомин, сын Фомина другого,
везде прославлен, вознесен,
хотя и вопреки Пруткову
не только куры строил он.

Имелось в виду, что Игорь Иванович превосходно умел не только ухаживать за дамами, но и проектировать здания.



Слева направо: Александр Ласкин, Зоя Борисовна Томашевская, Марина Ласкина. 31 декабря 2005 года

АЛ: Еще это отсылка к эпиграмме любимого Борисом Викторовичем Пруткова:

Раз архитектор с птичницей спознался.
И что ж? – в их детище смешались две натуры:
Сын архитектора – он строить покушался,
Потомок птичницы – он строил только «куры».

ЗТ: На тарелке лежал двухметровый рулон: папа наклеил фотографии женщин всех возрастов, вырезанные из газет и журналов. Была тут даже Мамлакат: Сталина с этого снимка папа отстриг, а ее оставил... Игоря Ивановича давно нет, а эта бумажная лента и сейчас на стене в его кабинете... Как-то мой брат Коля и его жена Катя решили не приезжать на Новый год – Катя училась в ГИТИСе и готовилась к экзамену по философии. Потом они все же не выдержали и явились к самому Новому году. Папе пришлось срочно что-то придумывать. Коля получил коробку сигарет с таким комментарием: «Дым столетий, конечно, не табачный дым». Кате совсем не повезло. К салфетке был приколот стишок:

Мы в философии, увы, ни ме, ни бе
не понимали,
а потому и вещь в себе,
хоть силились, но не видали.
Вот эту вещь тебе дарим,
а потому ее не зрим.

Как понимаете, под салфеткой ничего не было... Участвовали в наших праздниках и литературные гости. Приезжал любимый папин друг Реформатский. Григорий Осипович Винокур. Тут папа просто воспарял. Они писали друг другу целые поэмы. У них между собой это называлось: «остриться».

АЛ: Видите, «остриться»! А ведь такого слова в русском языке нет. Но если иметь в виду упомянутое нами «остранение», то есть.

ЗТ: В стихах папа посмеивался над пристрастием Реформатского к «СПГ», то есть к ста пятидесяти граммам... Хотя пуристом папа не был. Если гости и хорошее настроение, выпить мог... И Лидия Яковлевна Гинзбург любила водочку. И Анна Андреевна до последних лет жизни себе в этом – особенно за обедом – не отказывала. Бывало, и мне с ней приходилось выпивать.

АЛ: Водочку?

ЗТ: Только водочку. Мама еще настаивала ее на можжевельнике или черной рябине... Иногда бывали Заболоцкие. Чаще всего, правда, на Пасху. Помню с Альтманами встречали пятидесятый год. Анна Андреевна календарные праздники избегала. Не любила шумные сборища. Возможно, когда-то это ей нравилось, но я застала ее в трагические годы. Не зря папа назвал ее «королевой, которая тщательно это скрывает».

Конечно, озорства было больше всего, но иногда разговоры велись очень серьезные. Однажды спорили о донжуанском списке Пушкина. Как известно, там все названы своими именами. И вдруг – NN. Кто такая? Папа говорит: «Татьяна Ларина»...

АЛ: А ведь действительно для Пушкина его герои существуют как бы в одном ряду с конкретными людьми...

У скучной тетки Таню встреть,
К ней как-то Вяземский подсел...

И в письмах друзьям он говорил о Татьяне именно так – как о живом человеке и едва ли не своей знакомой.

ЗТ: Был еще разговор о том, кто адресат стихотворения «К морю». Татьяна Григорьевна Зенгер-Цявловская высказалась безапелляционно: «Конечно, Воронцова». Все оживляются, спорят, требуют ответа от Бориса Викторовича. Папа сидит, чуть выпятив губу, как он всегда делал, когда сильно погружался в свои мысли, а потом говорит: «Могучей страстью очарован». Только о России так мог сказать Пушкин»...

АЛ: Скорее всего, писать об этом Борис Викторович не стал бы. Ведь это вопрос веры – или неверия. Но я, знаете ли, верю...

ЗТ: А по мне так это вопрос логики...

Как быть писателем?

Возвращаясь от своей соседки, я непременно садился за письменный стол.

Причем не всегда мои размышления были по тому же поводу. Подчас оттолкнешься от какой-то ее истории и думаешь о своем.

Конечно, слишком далеко не удаляешься. Может, примеры разные, а мысль одна. Пытаешься понять, как жить в своем времени, но ему не поддаться.

Тут существует много способов. Самый эффективный заключается в том, чтобы не заикливаться. Всякий раз находить какие-то другие возможности.

Представляете прежнюю эпоху? Да еще на улице что-то специфически петербургское. В такую погоду не только не выйдешь на улицу, но и в окно взглянешь с неохотой.

Что ни говорите, а создатель нашего города не забывал о целостности впечатления. Трудно сочинить более выразительное пространство для тяжелых времен.

И при этом, думаете, никто не смеется? В некоторых домах нашей Пальмиры веселятся вовсю.

И все потому, что мыслят неординарно. Кто-то умудряется так прийти в гости, что потом не оберешься последствий.

Пастернак как чудотворец

Пастернак просидел у Ахматовой половину дня, а как только ушел, то все и началось. Борис Леонидович еще спускался по лестнице, а квартира уже отправилась на поиски. Точно знали: если он улыбался смущенно, значит, что-то должно быть.

Чего еще ждать от поэта? Когда он прикасается к чему-то слишком знакомому, оно волшебным образом преображается.

Помните, конечно, его митингующие деревья и говорящие чердаки? В данном случае впечатление было не менее удивительным.

Чем, казалось бы, может изумить знакомая до слез подушка? Или кастрюля, многократно вычерпнутая до дна?

Пастернак повсюду рассовал деньги. Чуть не на каждом шагу обнаруживались крупные и мелкие его вложения.

И если бы вложилась только в подушку или кастрюлю! Когда все было многократно проверено, из-под шапки на вешалке выпорхнула купюра.

В его раннем стихотворении вспоминается шестая глава Евангелия от Матфея, где говорится о необходимости творить милостыню тайно.

Следовательно, благодеяния не должны мозолить глаза. Пусть лучше они прячутся среди вещей и дожидаются своего часа.

Пастернак как чудотворец (продолжение)

Приятно? Еще как. А главное, после таких событий чуть меньше боишься жизни.

Уже давно в этом доме и думать забыли о том, что такое сюрприз в его первоначальном детском значении.

Ведь дело не только в хрустящем свертке, а в ожидании. Чем сильнее томление, тем больше радость потом.

Пастернаку хотелось все это Ахматовой подарить. Чтобы, несмотря на то, что погода осенняя, атмосфера возникала новогодняя.

Не зря же он автор стихов о «вакханалии» и «вальсе со слезой». Кому как не ему следует оживить дом радостными криками и беготней.

Анна Андреевна, представьте, тоже включилась. При этом ничуть не изменив своей «фирменной» величественности.

И погода, что самое невероятное, отступила. Снег, конечно, не выпал, но ясно чувствовалось: все переменится, самое главное впереди.

Шостакович на стадионе и дома

Еще бывает, человек сам находит отдушину. И в чем? В футболе. Оказывается, в самые горькие минуты это помогает.

Вот уж, казалось бы, негармоническое искусство. Сумбур вместо музыки. Вместе с тем Шостакович на стадионе отдыхал душой.

Все же есть в спорте некая безусловность. Уж если поражение или победа, то на глазах у всех.

Существует фото Дмитрия Дмитриевича. Какой-то он здесь не такой. Чаще всего рот сомкнут в ниточку, а тут широко распахнут.

Обычная жизнь исключает прямоту высказывания, но во время матчей она еще допустима.

Вот и кричишь, что есть сил. Требуешь судью на мыло или ликуешь по поводу забитого мяча.

Потом идешь домой и опять все копишь в себе. Если вдруг испытаешь восторг или отчаяние, то стараешься об этом не распространяться.

И опять лицо какое-то уж очень нейтральное. Настолько отстраненное от происходящего, что его можно принять за маску.

Однажды Дмитрий Дмитриевич все же не выдержал. Позвонил Зощенко и сказал, что ему необходимо с ним встретиться.

Отчего такая спешка? Вроде ситуация сегодня ничуть не более отвратительная, чем вчера.

И действительно, ничего не случилось. Если не считать того, что человеку время от времени необходимо кому-то пожаловаться.

Когда писатель пришел, композитор усадил его в кресло, а сам нервно зашагал по комнате. Чуть ли не руками размахивал. Возможно, пытался кому-то что-то доказать.

Так побегал немного, уложил на лопатки парочку противников, а потом сказал умиротворенно: «Спасибо, Миша. Так надо было с вами поговорить».

Шутил, думаете? Ни в коем случае. Ведь и без того ясно, что они могли бы обсудить, если бы жили в другой стране.

Шарады у Томашевских

Кто-то любит футбол, а у Томашевских играли в шарады. Удовольствие, конечно, детское, ну так они и вели себя как дети.

А еще кто-то упрекал их в чопорности. Сразу ясно, что эти люди не наблюдали их во время игры.

Какая тут чопорность. Не только с позволения, но и при поддержке хозяев квартира переворачивалась вверх дном.

Где это видано, чтобы гости копались в чужих вещах? А тут, представьте, заглядывают на самые недоступные для посторонних полки.

Архитектор Фомин показывал человека с зубной болью. Чтобы вышло правдоподобней, завязал щеку лифчиком дочери хозяйки.

И это еще не самое сильное. Как-то один гость изображал негра, так он потом отмокал в ванной.

А вот еще чудо из чудес. Рихтер решил предстать рыцарем и нацепил кастрюлю на свой изумительно красивый череп.

При этом, конечно, никакой политики. Исключительно выплеск раскрепощенной энергии и удовольствие по этому поводу.

Однажды участники совсем близко подошли к той области, где начинаются сегодняшние проблемы.

Кто-то предложил показать слово «формалист». Сначала по отдельности изображали «лист» и «форму», а потом решили половинки соединить.

За это взялся Натан Альтман. Ему ведь и делать ничего не нужно. Достаточно просто пройти из одной комнаты в другую.

Видели бы вы Натана Исаевича в этот момент. Сам себе удивляется. Да, формалист. Все давно примкнули к большинству, а он остался собой.

В обычной жизни Альтман сутулился, а тут выпрямился. Словно понял, какая ответственность ложится на его плечи.

Отгадал Борис Викторович. Ему ли не узнать брата-формалиста? Сейчас в печати ругают художника, а недавно теми же словами крыли его.

Отчего в эту минуту все воодушевились? Да оттого, что мрачные события заняли подобающее им место рядом с развлечениями этого дня.

Вот бы так расправиться с историей. Превратить ее, грозную и зловредную, в повод для удовольствия. Показать, что не она тут главная, а те, кто решил в нее поиграть.

Легко представить, что бывает после этих шарад. Совершенный кавардак. Те из гостей, кто хоть раз пережил обыск, сразу вспоминают свои ощущения.

Но настроение у всех приподнятое. Если бы утром не надо было на работу, с удовольствием сыграли бы еще.

Знаете, к чему имеет отношение вахтанговская «Принцесса Турандот»? Вот к этим домашним праздникам. К веселому шуму вечеринки, к счастливой способности устроить праздник из ничего.

В каком-то смысле этот спектакль и был домашним театром. Ведь играли свои, студии. Не только публику, но и друг друга они радовали своей способностью к озорству.

В эпоху разложения

Почему в этом доме полюбили шарады? Потому же, почему Шостакович пристрастился к футболу.

Вспомнишь, что такое независимость, и опять привыкаешь к реальности. Сидишь где-нибудь на собрании и думаешь: будь ты хоть негром преклонных годов или человеком с зубной болью, то был бы отсюда далеко.

Еще размышляешь о том, что Советская власть сродни труду землемера. Если что-то позволено, то лишь по прямой. Кто попробует отклониться в сторону, обязательно будет наказан.

Тем приятней отклоняться. Не окончательно, конечно, но хоть ненадолго. Как бы высунешь голову в форточку, а дальше опять живешь в духоте.

Хотите загадку? Что общего между шарадами, футболом и детской литературой? Как видно, дело тут в вышеупомянутом глотке воздуха.

Отчего среди детских писателей тридцатых годов столько людей религиозных? Да потому, что если можно высказывать свои убеждения, то лишь через привязанность к простым радостям жизни.

Ведь это Христос сказал: «Будьте как дети». Вот они и стали как дети. Начали писать так, что человек выросший не оценит, а ребенок поймет.

Тут следует назвать одного посетителя Томашевских. Можно сказать, любимого гостя. Из двух на свете людей, с которым Борис Викторович был на «ты», он, безусловно, первый.

И дети Томашевских, хотя за общий стол не допускались, этого гостя выделяли. Между собой называли его «хорошеньким дяденькой»: был он какой-то уж очень ладный и даже немного походил на Пушкина.

Впрочем, фигура Юрия Тынянова возникла в нашем рассказе лишь на минутку, и только для того, чтобы предупредить его важнейшую мысль.

«В эпоху разложения какого-нибудь жанра, – писал Юрий Николаевич, – он из центра перемещается в периферию, а на его место из мелочей литературы, из ее задворков и низин всплывает в центр новое явление (это и есть явление «канонизации младших жанров», о котором говорит Виктор Шкловский)».

Ведь это не только о литературе. Сразу представляешь, как в эпоху разложения всего и вся они приходят к Томашевским. Отдадут должное «младшим жанрам», выпьют и закусят, и казавшее неотвратимым уже не пугает.

Помимо этого «перемещения» есть и менее заметное. Вслед за тем как Юрий Николаевич высказал это соображение, оно обнаружилось в стихах Ахматовой. Речь тут тоже шла о «задворках» и «низинах», или, – уточняла Анна Андреевна, – «соре», «желтом одуванчике у забора», «лопухах» и «лебедю».

Надо упомянуть просторечный, можно сказать, простодушный оборот во второй строфе:

По мне в стихах должно быть все некстати,
Не так как у людей...

Так вот оно что. Говорилось о чем-то близком и незатейливом, но тут же оказалось, что это дело отнюдь не каждого, а лишь отмеченных и избранных.

Теорема Юрия Слонимского

У балетного критика Юрия Слонимского имелась на сей счет специальная теория.

Критик был человеком театральным и свою теорию разыгрывал. Несколько раз поставит в тупик собеседника, и тот сразу начинает что-то понимать.

Придет к Юрию Иосифовичу кто-то пожаловаться на неурядицы, и сразу начинается допрос с пристрастием. «А что бы, – говорит, – на вашем месте сделал Мариус Петипа?»

Да кто ж его знает, что бы он сделал? Ведь не привелось достопочтенному Мариусу Ивановичу жить при Советской власти!

Не дожидаясь, пока собеседник переварит вопрос, критик сразу предлагал ответ.

– Он поставил бы прекрасный танец.

Вот оно как! Жизнь подставляет тебе подножки, а ты не бросаешь любимых занятий. То есть, конечно, падаешь, но потом продолжаешь в том же духе.

Как существует вечный вопрос, так есть и вечный ответ. Что бы ни происходило, трудно придумать выход лучше этого.

С таким ощущением жило это поколение. Лечили не подобное подобным, а чем-то диаметрально противоположным.

Тут правильней вспомнить не заморскую «Турандот», а наш родной «Вишневый сад». Там, когда ждут известий о продаже имения, устраивают вечеринку с фокусами и еврейским оркестром.

Может, чувствуют, что судьбу лучше принимать в толпе гостей? Как бы вблизи продолжающейся жизни. Под звуки музыки, которая грустит, но не сдаётся, предлагает то плакать, то танцевать.

Считается, жизнь у героев Чехова скучная, чуждая игре. Вместе с тем они постоянно тормозят друг друга. Кажется, сложись их судьба иначе, все бы пошли в актеры-любители.

В «Чайке» исполняют пьесу о Мировой душе. В «Трёх сестрах» фотографируются всей компанией. Даже прохожий в «Вишневом саде» встает в позу и начинает вещать.

Такие «актеры» – почти то же, что «скрытые диссиденты». Все время норовят что-нибудь выкинуть. Окружающая жизнь гнет в свою сторону, а они в свою.

Заметки на полях

Мне тоже поневоле пришлось стать текстологом. С этой и с другой стороны страницы Зоя Борисовна оставила множество пометок.

«Как много стало людей, которые умеют заваривать чай только в своей чашке» (это об упомянутом случае с Зощенко).

«Предметом папиных насмешек чаще всего было невежество» (это в связи с нашим разговором о юморе в доме Томашевских).

А вот по поводу того, что как-то во время игры в шарады потребовалось изобразить негра: «Дивный художник и изящнейший мужчина Володя Васильковский набрал полную ладонь туши и плеснул себе в лицо. Потом вся компания макала его в ванну».

Или вдруг такое воспоминание: «Кирпотин был человек очень серьезный. Как-то с ним произошел казусный случай. Папа нашел на улице его членский билет Союза писателей. Подходит к нему в столовой Дома литераторов и говорит: «Валерий Яковлевич, я нашел ваш членский билет». Тот смотрит удивленно и отвечает: «Борис Викторович, я тоже умею шутить».

Комментируя фразу о том, что не жил Петипа при советской власти, Зоя Борисовна сделала приписку: «Жить не довелось, а памятник на гурзуфском кладбище валялся до последнего времени».

Значит, встреча хореографа с новым порядком все же состоялась. При этом режим, как обычно, продемонстрировал свое равнодушие.

Больше всего замечаний вызвала глава о Шостаковиче. Мой пересказ слов композитора она сразу заменила точной цитатой.

Фраза «Так надо было с вами поговорить» действительно замечательная. Можно размышлять над ней столько же, сколько над его музыкой.

Особенно впечатляет сослагательное наклонение. Неясно, случилось это на самом деле или осталось неосуществленным.

Еще Зоя Борисовна осудила меня за то, что я сравнил лицо Дмитрия Дмитриевича с маской.

Ей, конечно, виднее. Даже когда она говорит о симфониях Шостаковича, то они для нее неотделимы от его внешности.

И все же я это не вычеркнул. Ведь действительно маска. Черные круглые очки придают облику завершенность.

На некоторых снимках композитор, правда, приоткрывается. Сидя на концерте так закинет голову, словно впадает в забытие.

Или то же фото на стадионе. Трудно узнать Дмитрия Дмитриевича в болельщике, который, забыв о гармонии, кричит что-то нечленораздельное.

Скорее всего, мысль о маске для Зои Борисовны обозначает двойственность. Противоречит ее вере в то, что люди этого круга были всегда равны себе.

Для кого-то игра – попытка удалиться и спрятаться, а для нее – продолжение той же беседы. Сколько раз каждый высказывался на этот счет, а теперь они делали это сообща.

Тут очень важно ощущение того, что ты вместе со всеми. Что ты можешь быть весел и благожелателен в то время как противник только агрессивен и зол.

Из разговоров. Высокая мера

ЗТ: ...Когда Виктор Владимирович Виноградов попал в лагерь, папа с ним переписывался, посылал книжки, старался, насколько это возможно, быть полезным его жене, Надежде Матвеевне... После того как Виноградов вернулся, они очень хорошо встретились. Затем неожиданно у Виноградова дела пошли в гору... Из заключенного он превратился в вице-президента Академии наук. В этот момент Петр Григорьевич Богатырев защищал докторскую. Сына Богатырева, Костю, арестовали. Папа обратился к Виноградову. Тот ответил так: «У меня было кольцо со словами царя Давида: «Каждое дело начинай с чистыми руками». Это кольцо я потерял». В сорок восьмом году в Пушкинском доме защищался Алексей Владимирович Чичерин, а Виноградов его завалил. Причем специально для этого приехал из Москвы. Увиделись они с папой только после конца заседания. Радостный Виноградов бросился с объятьями. Папа взял руки за спину и сказал: «Позор, Виктор Владимирович».

Мама тоже умела говорить без обиняков... Все, кто ее знал, видели ее в гневе. Бродский об этих минутах говорил: «Бабчик высказалась наотмашь...» Маму очень любила Анна Андреевна, но я все время боялась, что они рассорятся. Однажды я написала в Гурзуф. У меня в это время было не очень много событий и я сообщала последние ленинградские новости. Рассказала и о компании молодых поэтов, которых опекала Анна Андреевна. Бродский, Рейн, Бобышев, Найман. Я процитировала сказанную Ахматовой фразу: «При этих мальчиках я играю все роли – от *grande coquette* до комической старухи». В ответ я получила настоящую отповедь. Мама писала, что Ахматова развращает молодых людей. Что она не может стать их учителем в том смысле, в каком учителем для Пушкина был Жуковский... Все это она могла сказать и в лицо. Ахматова такое поведение не только терпела, но и ценила. Иногда, конечно, возражала, но чаще принимала молча.

Или, помню, приезжает Рихтер, живет у нас, обедает, а мама ему рассказывает, что Ростропович ездил к Солженицыну в Рязань. И сразу с таким вопросом: «А вы могли бы так поступить?». Рихтер ничего не отвечает, и тогда мама пристает снова. «Видите ли, Ирина Николаевна, – говорит Слава, – Ростропович – человек очень алчный, а для виолончели написано так мало хорошей музыки».

АЛ: Мол, существуют ценности большие, чем гражданский поступок. Музыка, например.

ЗТ: Мама-то не считала, что есть нечто большее, чем поступок. Все-таки, она – дочь Николая Ивановича Блинова. Бабушка и дедушка родом из Житомира, учились в Женевском университете. И не из-за того, что там какое-то особое образование. Просто Женева ближе Петербурга... Когда в Житомире начались еврейские погромы, Николай пообещал своему брату Петру, служившему помощником пристава полицейской управы, что непременно встанет на защиту евреев. Несмотря на то, что русский человек и христианин. Или, точнее, именно потому, что русский человек и христианин... «Не посмотрю, что брат – застрелю», – ответил Петр, но Николая это не испугало. Когда до Женевы дошли слухи о новом погроме, он вернулся на родину и в погроме погиб. Есть такая фотография: длинный ряд жертв на полу морга житомирской еврейской больницы, а первый среди них – дедушка... Мама рассказывала, что о Блинове упоминает Ленин. Я это не проверяла, так как у нас в доме никогда Ленина не было...

АЛ: Интересно, вспоминает ли о Блинове Солженицын в своем «Двести лет вместе»?

ЗТ: Ой, там столько вранья. Он и Мейерхольда называет евреем. Солженицын слишком уверен в себе. Считает, что все, им сказанное, истина. Я начала и не могла читать. Хочу эту книжку выбросить.

АЛ: У вашего дедушки была жизнь-поступок. Можно поставить не дефис, а знак равенства... Ничего более важного к своим двадцати трем он сделать не успел... В одном из его писем, которое вы мне дали прочесть, есть фраза о «наследственной неприязни к блестящим пуговицам». Это о чем? О реальных отношениях маленькой Ирины Николаевны с яркими предметами или же о чем-то большем?.. Кстати, Герцен говорит о «фанатиках форменных пуговиц и голых подбородков». Любовь к мундиру вкупе с отсутствием бороды Александр Иванович считал проявлением конформизма.

ЗТ: Вы теперь понимаете, почему мама от всех требовала подвига? От папы, конечно, ничего не требовала, он и без того для нее был героем. А с Колей у нее были проблемы. Как-то его не тянуло на баррикады, уж очень он любил жизнь.

Однажды я пришла домой из школы зареванная. Мои одноклассники обвинили меня в высокомерии. Папа на это отреагировал так: «Они спутали высокомерие с зазнайством. В высокомерии нет ничего дурного. Высокомерие – это высокая мера в жизни. Это качество проявляется в выборе и друзей, и профессии, и книг». Мои родители – и чуть ироничный отец, и может быть слишком серьезная мама – не признавали половины... Шварц или Эйхенбаум про кого-то говорили: «Это очень милый человек», а они возражали: «Да какой милый, если он то-то написал, так-то сказал...» Для них и Козаковы, и Мариенгофы были людьми компромиссными...

АЛ: Может, потому в «Телефонной книге» Шварц пишет о ваших родителях с некоторым недоверием. Мол, все время насуплены, полны претензий к другим, не отвечают критерию светского поведения...

ЗТ: У меня был важный разговор с Лидией Яковлевной Гинзбург. Я ее спросила, почему она так ничего не написала о папе. О Шкловском написала, об Эйхенбауме, а о папе – нет. Она ответила, что много раз начинала, что-то набрасывала, но ничего не выходило. Сначала не могла понять, в чем дело, а потом нашла для себя объяснение. Борис Викторович был выше суеты.

Разумеется, «высокая мера» была присуща и Анне Андреевне. Это чувствовали даже те, кто в собственной жизни этой мерой пренебрегал. Как-то в Комарово мы с ней пошли гулять и на лесной тропинке встретили одного литератора. Анна Андреевна хорошо знала, кто перед ней, а он понимал, что ей это известно... Этот человек поклонился Ахматовой и сказал: «Простите». У меня было ощущение, что он сейчас встанет перед ней на колени.

АЛ: А что Анна Андреевна?

ЗТ: А ничего. Поклонилась и пошла. Кстати, «высокая мера», о которой мы сейчас говорим, качество демократическое. Нашей домработнице с двухклассным образованием оно тоже было свойственно. Когда стало известно о гибели Кеннеди, все страшно взволновались. Хоть и чужой президент, но все на него почему-то очень надеялись. Мы это обсуждаем на кухне, а рядом ходит наша Настасья Сергеевна. Слушает-слушает, а потом вдруг не выдерживает: «Не дело вы говорите, Зоя... Если бы вы побывали у нас, в Смоленской области, то знали бы, что никакой Кеннеди уже ничего сделать не сможет».

АЛ: Не только ваша Настасья, но и куда более именитые люди почувствовали в этой истории русский след.

ЗТ: ?!

АЛ: В катаевском «Святом колодце» после главки об убийстве Кеннеди есть такое место: «Дятел, дятел, тук-тук-тук... Выяснилось, что он привык выступать со своим художественным стуком в третьем отделении». Речь, понятно, о нашей отечественной разновидности дятла. И отечественном варианте «третьего отделения».

Секрет Альтмана

Натан Альтман тоже придумал для себя отдушину. Оклеил мастерскую не обоями, а географическими картами.

Вот уж действительно удовольствие. Лежишь на диване в любимой позе, и в то же время отправляешься в путешествие. За считанные мгновения оказываешься в разных городах.

Теперь вам ясно, отчего герои Шагала парят? Да и возможно ли, передвигаясь обычным способом, повсюду поспеть?

Вот Натан Исаевич и летает. Порой забирается настолько далеко, что сам удивляется.

Все видит в цвете. Францию воображает красной, белой и синей. Будто любая подробность жизни этой страны повторяет ее флаг.

Что касается Палестины, то тут больше желтого. Можно сказать, сплошной желтый цвет. Если появится коричнево-белое, то это, конечно, житель пустыни.

Альтман любил объяснять своим знакомым, что он человек ленивый и хитрый. Всегда придумает что-то такое, что хоть немного облегчит ему жизнь.

Порой и за кисть братья необязательно. Вставил в картину фольгу или газетную вырезку – вышло красиво, а усилий никаких.

С картами та же история. Иногда еще с вечера прикинешь: что-то давно я не прогуливался по Монмартру!

И, знаете ли, гуляет. Как устанет, заглянет в ресторанчик, чтобы выпить стакан вина.

Дело не только в этих полетах на диване. Если бы мы об этом ничего знали, все равно было бы ясно, что художник не из наших краев.

Во-первых, одет слишком причудливо. У нас на человека в свитере смотрят с опаской, а он носит шейный платок и берет.

Даже на рыбалку платок повязывает. Хочет, как видно, произвести впечатление на рыб.

Никаких иных знаков отличия Альтман не признавал. Носил шелковую тряпицу все равно, что орденскую ленту.

Настоящими наградами Натан Исаевич интересовался мало. Говорил, что они занимают его лишь потому, что теперь это стало вопросом меню.

Однажды в Доме творчества художники стояли группкой перед входом в столовую. Время было предобеденное, а разговор совершенно праздный.

Обсуждали, где бы кто хотел жить. Самые решительные мастера кисти из провинции осторожно называли Москву и Питер.

Тут мимо идет автор портрета Ахматовой и «Еврейских похорон». Шейный платок повязан так лихо, как это удается лишь иностранцам.

В руках, кстати, удочка. И тоже не простая, а так же, как шарф с беретом, купленная в заморских краях.

– Ну а вы, Натан Исаевич, где бы хотели жить?

Вопрос был задан без всяких подтекстов. Ведь и без того ясно, что любой художник из Питера хочет перебраться в Москву.

Оказывается, мечты Альтмана распространяются куда дальше. Будь его воля, он предпочел бы Париж.

Все прямо рты открыли. Нет, не просто так этот шейный платок! Хочет, как видно, выразить несогласие с галстуком как с чем-то слишком жизнеподобным.

Они бы еще больше изумились, если бы он сказал, что время от времени в Париж наведывается. Посмотрит на одну из карт на стене, и ему кажется, что он уже там.

Вообще-то с людьми, имеющими пристрастие к географии, такое случается. Сама собой возникает мысль о праве каждого сорваться с насиженного места.

Когда Рихтер гостил у Томашевских, он тоже так развлекался. Благо в доме было множество атласов. Разложит их на рояле, ткнет в какую-нибудь точку, и спрашивает: «Борис Викторович, как вы думаете, здесь есть рояль?»

Это Святослав Теофилович, примерно как Альтман, воображает себя путешественником. Представляет, что едет на край света, а там его дожидается инструмент марки «Рёниш».

Вот обрадуются краесветовцы! Он будет играть им великую музыку, а они внимать, удивляться, не верить своим ушам.

И другие секреты

Забавная семейка у Альтмана. Сам Натан Исаевич – человек экстравагантный, а Ирина Валентиновна тем более.

И отношения между ними не совсем обычные. В какие-то области своей жизни он ее просто не пускает.

Особенно оберегал свою мастерскую. Как видно, считал, что ее всегда шумное поведение противопоказано его холстам.

Может, он ее не любил? Пожалуй, любил. С той лишь поправкой, что она и его искусство принадлежат разным системам координат.

Чего в ней точно не было, так это гармонии. Потому посуды в доме требовалось немалое. Как начнутся у них разборки, она обязательно что-то разобьет.

Настоящий спектакль. Бац – и еще раз бац! Примерно к третьему бокалу Ирина Валентиновна окончательно успокаивалась.

Однажды Альтман заметил, что его жена действует избирательно. Если в серванте стоит стекло и хрусталь, она непременно возьмет стекло.

«Бей, что подороже!», – буквально потребовал Альтман. Очень уж несерьезно при такой экономии выглядели эти скандалы.

Хотя Ирина Валентиновна не обладала особыми талантами, но удивить тоже могла. Иногда так высказывалась, что ее формула сразу прилипала.

В общем, это был тот же альтмановский минимализм. Если ему достаточно нескольких линий, то ей хватало двух-трех фраз.

Любимая ее байка такая. Однажды к ней приставал Олейников. Николай Макарович так увлекся, что они оба оказались на полу.

Ирина Валентиновна только и успела вскрикнуть: «Что вы делаете?», а он не растерялся и спросил: «А вы что, шуток не понимаете?»

Еще неизвестно, кто кому даст фору. Он со своим беретом и платком или она со своими историями разной степени сочиненности.

Отношение к деньгам у нее было едва ли не романтическое. Конечно, деньги тратились на еду и одежду, но главное их назначение виделось в том, чтобы хоть немного украсить жизнь.

Буквально все для нее превращалось в праздник. Купил коллекционер у Натана картину рублей за триста, а она по этому случаю закатывает пир.

Профукает рублей двести, а на все про все останется сто. Это если не считать послевкусия. Ощущения того, что жизнь не такая скучная штука, как это кому-то кажется.

Надо сказать, в этом кругу было так принято. Может, Ирина Валентиновна заметней многих, но радоваться жизни умели все.

И легкомыслия им было не занимать. Не ходили на демонстрации, не штудировали классиков марксизма, а играли в шарады. Или хотя бы уж очень по-французски носили берет.

У кого-то берет плоско лежит на голове, но на этот раз с почти цирковой лихостью он расположился между макушкой и ухом.

И другие секреты (продолжение)

Ах, Натан Исаевич, Натан Исаевич. Хитрец и лукавец. Не так много в его время было людей, которые не только остались собой, но при случае могли показать язык.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.